

A stylized illustration in a dark brown color on a lighter brown background. It depicts two figures, a male and a female, holding hands. The male figure is on the left, and the female figure is on the right. They are both facing forward, and their hands are joined in the center. The style is minimalist and graphic.

ОЛЬГА КУЧКИНА
мальчики+девочки=
повести, рассказы, письма

Ольга Андреевна Кучкина

Мальчики + девочки =

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=653275

*Мальчики + девочки =. Повесть, рассказы, письма : Время; Москва;
2011*

ISBN 978-5-9691-0991-9

Аннотация

Мы увидим все небо в алмазах, обещал нам Чехов. И еще он обещал, что через двести, триста лет жизнь на земле будет невыразимо прекрасной, изумительной. Прошло сто. Стала ли она невыразимо прекраснее? И что у нас там с небесными алмазами? У Чехова есть рассказ «Мальчики». К нему отсылает автор повести «Мальчики + девочки =» своих читателей, чтобы взглядеться, вчувствоваться, вдуматься в те изменения, что произошли в нас и с нами. «Мальчики...» – детектив в форме исповеди подростка. Про жизнь. Про любовь и смерть. Искренность и в то же время внутренняя жесткость письма, при всей его легкости, делает повесть и рассказы Ольги Кучкиной манким чтением. Электронные письма приоткрывают реальную жизнь автора как составную часть литературы.

Содержание

МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ =	4
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Ольга Кучкина

**Мальчики + девочки =
Повесть, рассказы, письма**

МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ =

Мы увидим все небо в алмазах.

А. П. Чехов. «Дядя Ваня»

*Добыывать же себе пропитание
можно охотой и грабежами.*

А. П. Чехов. «Мальчики»

Черно-белый снег. Местами больше черный. Местами больше белый.

Всклокоченное маленькое солнце бликует на белых снегах, как на стразах. Блеск, шум, вонь и копоть. Но если подпрыгнуть повыше, можно ухватить ртом и носом чистейшего морозного воздуха.

Соня напрыгалась.

Я не такой слабак. Сколько раз подпрыгивал и хватал, и хоть бы хны.

– Король явился! – прозвенело хрусталем, оставшимся от матери, из оставшегося материна бужета позапрошлого века.

Или сосулькой, блестящей и прозрачной, как на магазине «Армения». Звук – и сразу картинка в башке.

Сравнения замучили. Сами лезут, как воры в окошко. Интересно, где такие дырки в башке, что они туда проникают?

Мороз, как наждаком, натер уши, щеки и лбы докрасна. Пылают, как сковородка. Пар изо рта, как дым. У всех вырывается с дыханием. У Катьки – со смешком. Ну, явился и явился, чего звенеть-то?

Моторы взревели с натугой. Машинки рванули. Из глушителей, как из глоток, только что слабо дымились, а тут сплошняком поперло, туману морозного напудило на весь Тверской бульвар.

Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана.

Из тумана вышел Чечевицын.

В последнюю секунду, как ужас скользкий, вывернется и просклизнет между машинками. А пальцами двумя голыми, красными, ровно сосиски мороженые, сжимает тонюсенькую, в три листика, пачечку сторублевок. Вверх поднял пальчики гордо. Как V, если б растопырил. Но из растопыренных бумажки унесет угарным потоком. Так что держит вместе крепко, как склеенные.

Чечевицын – южный человек, а в самый лютый мороз без шапки. Почему южный, мы не знаем. Чернявый, кудрявый, белки не чисто белые, как у людей, а такие охристые, что ли, и нос с горбатиной, кто ж еще. Но живет в Москве, как все народы. На девчонку похож, смазливый. Он недавно у

нас. Удачливый, как бес. Кто в такие холода отвинтит стекло, чтобы напустить морозу в теплую машинку, польстившись на штампованную дешевку, — самые болваны. А нет, болваны в иномарках не ездят. А на Пушке сплошь иномарки. Ясно, что на штамповке написано *Longine* или *Citizen*. Какой лонжин за десять баксов — всем известно. Почему-то на Чечевицу болванов хватало. Но он не гордый. Похвастать любит, и то нечасто, а так ничего. Зла на него никто не держит.

Не, насчет зла я наврал. Маня держала. Иначе не билась бы с ним смертным боем. Придерется, что джентльменские соглашения не соблюдает, и лупит. Не то что на глазах у всех, а ототрет плечом к железной оградке, какие на кладбищах стоят, перепрыгнет с проезжей части на сам на бульвар и его утянет, а там врежет незаметно разок-другой, иногда до юшки. Красиво — красная юшка на черно-белом снегу. Кулак, как у мужика. Не скажешь, что дева. У нее и выпуклостей нет. Счас не видать, зато летом полное кино. Тулово квадратное, развитое, мускулы играют. А на том месте, где эти штуки должны торчать, два прыща. Что в майке, что без. Чечевица говорит, она еще маленькая. Но Катька тоже маленькая, а с этими штуками полный порядок.

Маня качает бицепсы круглый год. Что зарабатывает, все на *гум* тратит. Ее интересует результат. Чечевице нравится процесс. Деньга к нему как легко приходит, так уходит. Маня могла б не пускать ему кровь. Он бы и так ей отдал, возьми попроси. Мне надо было, я сказал по-человечески, он дал.

Но Маня грубая и в психологии не сечет. Силу знает, и все. А в нашем деле психология на первом плане, как Хвощ учит.

– У!

– Угу?

– Уйди.

– Сколько раз говорить, тот ряд мой!

– И шла бы, не стояла на месте.

– Я не стояла.

– Ты прыгала.

– А ты елозил.

– Бери и ты елочь.

– Мой ряд, чего хочу, то и делаю.

– Ты его купила?

– Здравсь!..

– Не здась, а покажи письменный контракт. Без письменного контракта устные договоренности недействительны.

Это он так над ней издевается. Отличник, небось, я не спрашивал.

– Тебе мало? – Маня заходится.

– Дура ты, Маня. Время – деньги, слыхала? За это время у тебя, точно, два или три покупателя уехали, а ты зря его тратишь.

Маня встрепетается, перемахнет обратно через могильную оградку, а светофор переключился, и опять машинки не стоят, а помчались, она сплюнет с досады, плевок застынет в полете, ей нравится, она еще раз плюнет и любитесь мутной

ледышкой, впрямь как маленькая, и тут мимо нее склизнет Чечевицын и встанет, как конь перед травой, перед очередной машинкой в тот самый миг, что и машинка встала, и рука водителя – а то круче, водительши! – как миленькая опустит боковое стекло, и уже Чечевицына физиономия там, внутри, в облаке теплого пара, кажись, счас весь туда втянется, где духи и запахи, но проходит секунд пятнадцать, и он тут как тут, одной лапой кровавые сопли вытирает, от тепла расплавились, след Манькиной лупцовки, а в другой опять три тоненьких сотенных бумажки, у подлеца.

Катка заливисто хохочет. Ей нравится, что Маня проиграла. Мне, если честно, тоже. По жизни я против Мани ничего не имею. Но девчонка есть девчонка. Значит, на втором месте после Чечевицы. На первом для меня всегда парень. Я ни против никого ничего не имею. Все партнеры. Пусть и соперники. Вот интересно: все партнеры на земле соперники или у нас одних?

– Здорово.

– Здорово.

Генка сунул мне пять. Я ему пять. Он стоял в мое отсутствие вместо меня. Я снова здесь – он может уходить. А он трется и не уходит.

– Боец, спасибо за службу.

– Генерал, что ли, благодарности раздавать?

– Ты не понял, я вернулся.

– И что?

– А то, что ты свободен.

– Как свободный человек могу быть, где хочу.

– Ты можешь, но отсюда канай.

– А если не поканаю?

– Тогда может быть все что угодно.

– Кому угодно?

– Ну, мне.

– А жопа в говне?

– У тебя.

– А если у тебя? Хвощ тебе скажет...

– Ничего мне Хвощ не скажет. У тебя свое место. У меня свое. Тебя сюда командировали вре-ме-нно, ясно? Тебе по нутру, я понимаю. Пушка всем по нутру. Но Пушка – мое место, а твое – застава Ильича, если не ошибаюсь. Мы центральные, вы периферия. Понюхал – запомни. Вернись на место и старайся, расти. Дорастешь, как мы доросли, будешь здесь стоять. До старости. А мы к тому время займемся чем-нибудь понаваристей, ха-ха. Так что канай отсюда по-добру-поздорову.

Упертый. Не ушел. Дали красный. Побежал к машинам.

Хорошо. Пусть потрудится. Я подозвал Катьку:

– Смотри за ним в оба.

Катке ничего не надо объяснять. Все сечет с первого раза.

Мы с ней стояли на Кудринской. Она меня и притащила. Удобно. Близко, где я живу. Мы рядом живем. Но потом начали делать переход над Садовым и под Садовым, все пере-

рыли, перекрыли, пустили движение по-другому, чем было, и стало негде стоять. Хвощ перекроил карту и поставил нас на Пушки. А Маня со Сретенки пришла.

* * *

Мы называемся дистрибьютеры. В Москве нас тыщи. Мы включены в сеть. Она огромная. Одна половина населения впаривает другой. Что? Да что угодно. Кто толкает продукт, кто – рекламу о продукте, кто – всякие разные услуги. Автошкола там, иностранный язык, какая-нибудь лазерная коррекция зрения или бесплатная доставка пиццы. А есть люди-рекламные щиты. Я сам начинал как ходячий щит. *Знаете ли вы, что, поставив зубной имплант вместо протеза, вы выигрываете не менее 10 раз!* Это летом, когда не было школы. Слоняешься, одинокий как перст. Перст значит палец. Почему палец одинокий, мне неясно. Рядом может слоняться другой щит, то есть другой палец. А все равно два одиноких. Есть еще другие предложения. Для детей и для взрослых. Но их на улице не объявляют. А мы на улице. Отучимся – и сюда. Или берем и пропускаем школу. Мы улице подходим, а она нам.

На Пушки я главный. Король и есть Король. Ребятишки со мной и подо мной. Мое дело – навестить вовремя Илью-хромого получить продукт. Илья, по прозвищу Хвощ, – дилер. Он хромой, поскольку ему кинули нож в живот, а он

успел отскочить, и нож попал в ногу, а в поликлинику сразу не пошел, дела были, представляю, какие, нога загнила, и ему в Склифе оттяпали кусок, так что у него в ботинке вместо мяса с костями железный штырь с деревяшкой. Сперва афганца на проезжей части лепил, это до нас, потом чечена с усами, притом что он не черный, а скорей желтый, но, может, красился, тогда или сейчас, не знаю, а состояние округлил, это уж при нас, и перешел заместо полевых работ на конторские, то есть, сидя у себя дома в Сокольниках, раздает пацанам продукт. Что в нем хорошо – что не жмот. Но иногда унижает пацанов. Пацанов чаще. Пацанок реже. С одной у него что-то было. После ее мертвой нашли. То ли тогда с ногой случилось, то ли позже. Это не Илья рассказал. Илья нам не рассказывал. А так не спросишь. Ведет себя по-свойски, но варезку с ним лучше не раскрывать. Одним своим желтым взглядом на место поставит, и встанешь как вкопанный, и не пошевелишься. Если плохое настроение – расчет точный до копейки. А если хорошее – может вместо десяти процентов округлить так, что и до двадцати набегит. Я имею в виду, в нашу пользу. Не, в целом ниче мужик.

Продукт, который мы распространяем: часы, ремни, атласы проезжих дорог, базы данных, книжки типа «Бандитский Петербург» или «Бандитская Москва». Денной заработок доходит в иной день до полутора сотен. А в иной – хорошо, если тридцатник обломится.

Пока я отсутствовал, Хвощ произвел замену, поменял ме-

ня на этого Генку. А у меня Сонька болела. Не как обычно, понос там или простуда. А сразу крупозное воспаление легких. Никто ж за ней не смотрит, как она бежит из школы с подружками, без шарфа, потная, воздух ледяной глотает. Наглоталась. Заходится от кашля, колотун колотит, страху натерпелся, вся моя спесь по жизни куда-то испарилась. Пришлось звонить лысой тетё Томе. Лысая, потому как злющая, волосы от злости все и повыпадали. Прискакала, истерику устроила, вызывай, орет, «скорую помощь», в больницу срочно класть, пока не поздно. Я что, я ничего, молча вызвал. И всю неделю, как цуцик, между домом и больницей. Бульон варил из курицы, таскал молоко всякое, витамины. Как сиделка сидел. Опять же молча и улыбаясь. Выберемся, мол. В больнице, кроме доктора, ничего и никого. И то с утра обойдет палаты и исчез. Сестра еще забежит, укол сделает и тоже исчезла. А если чего ребенку надо, ребенок пропадай? Хорошо, другие дети подойдут помогут. Но у нас в палате как нарочно все тяжелые лежали. Я, как Тимур и его команда, горбатился. Но моя команда на заработках, а я в единственном лице среди коек. Еще денег одолжил у соседа Иван Поликарпыча. Хорошо, дал. Под честное слово. Я подумал: если что – Чечевица выручит, перезаймет.

* * *

Красный свет.

Кончай перекур, пошел работать.

Работа наша состоит из ловкости, терпения и интуиции. Напрягся – расслабился. Красный – напрягся, зеленый – расслабился. Интуицию Хвощ ставит на первое место. Бросаем взгляд на шофера и обязательно, кто рядом на сиденье, и пытаемся поймать, выгорит ли, нет. Если седок – шеф, время не трать. Если друг или подружка – трать, но с разбором. Если в машинке один водила – включайся на полную и обязательно старайся встретиться глазами. Если интуиция врожденная, на все машины кряду не кидаешься. Но врожденная она у нас у одного Чечевицы. Следом Катька – схватывает в момент. Я где-то на третьем месте. На четвертом Маня. Это наша команда. Другие команды работают в других местах. Но иногда идет передел, так что ухо надо держать востро.

– Вов, ты где был?

Катька бочком притерлась.

– Я кому сказал смотреть?

– Я смотрю.

– На кого?

– На него.

– А кто на меня смотрит?

– Так только одним глазком.

– Я сказал, в оба.

Ей надо передвигаться по своему ряду и одновременно смотреть за Генкой, но она как Наполеон. Это Илья про нее сказал. В плане, что сразу несколько дел может делать. По-

розовела, как услышала. Чуть что, розовеет, как роза с мороза, рыжая.

Зеленый. Пошел!

Мы идем повдоль оградки. Растянутой цепочкой. Чтоб сразу занять позицию, как новая партия затормозит. Катька передо мной виляет попкой. Научилась. Я ж говорю, скорая на учебу.

Быстро переключилось на красный. Едет кто, что ли. Бывает. Шоферня бесится, до гудения доходит, а гуди, не гуди, начальство свой маневр знает, а на остальных ему начхать. Нам выгодно, но, с другой стороны, когда шофер в таком настроении, к торговле не расположен. Может и послать, легко. Мы не обижаемся.

– Эй, мальчик!

Я думал, мне, подошел. Генка опередил. Или решил, что ему, или просто натура хитрожолая. В «вольво» дамочка в мехах отвернула стекло и запела:

– Мальчик, где-то поблизости должна быть двадцать четвертая больница, ты не знаешь, где?

Я вижу, что не по делу разговор, и теряю к дамочке интерес. У нее же тоже интереса ко мне с моим товаром нет, ей справка нужна, вот пусть Генка и дает. А он скорчил рожу, притворяясь, что забыл и не может вспомнить, а сам крутит своей тыквой по сторонам, у кого б спросить, не местный, а приспичило дамочке услужить, плюс показать, что старожил центра. Бывают такие фуфловые артисты.

Катька, цепкая взглядом, крикнула:

– Что? Он в ответ:

– Слушай, забыл, где двадцать четвертая больница, вертится, а где...

Вертится у него, ага.

Катька в ответ четко, как справочная контора:

– Тверскую пересечь, кинотеатр проехать, слева по бульвару длинное светлое здание с колоннами, на Петровку повернуть и с Петровки заехать!

Дамочке не слышно, она смотрит на Генку, выжидая. Понимает, что тот берет справку. Генка склонился к окошку, пересказывает, а я, вместо, чтоб воспользоваться и заняться другой клиентурой, почему-то не отрываю глаз от этого неинтересного для меня «вольво» и вижу: дамская ручка в перчаточке, а в ручке зеленая бумажка. Десять баксов. На моих глазах, козлина, отобрал чужой заработок, который ему не принадлежал, поскольку вступил на чужую же ж территорию. Вчера была его, а сегодня командировка кончилась. Стало быть, жулик. А жуликов надо наказывать. Мы тут работаем, а не жулим.

Я давно заметил, как начнешь думать, то можешь придумать, чего хочешь. Оправдать – спокойно оправдаешь. Себя, допустим. Обвинить кого – проще нету. Маня тоже злилась на Чечевицына за перехват клиента. Но мы свои. А козлина чужой. Вот в чем и дело: свой и чужой. И не говорите мне, что люди и положения равны. Никогда не равны.

Я вижу, то есть не вижу, но словно бы вижу, как мысли сами собой складываются в цепочку. И получается, что ты не только хозяин над мыслями, но и над тем, про что они. Не всегда, правда. Иногда мысли сами берут верх и делают с тобой, что хотят. Когда Соньку, съезжившуюся, затихшую, толстозадый дядька-врач со «скорой» взял на руки и понес вниз по лестнице, а я стоял и смотрел сверху, то я вдруг представил, что из этих рук она уже не встанет живой, а опустят ее на какой-нибудь холодный стол, и я никогда больше не услышу ее картавого говорка, так у меня аж челюсти свело. А всех делов-то – мысль. Ничего кроме.

Я не хотел вспоминать. Не знаю, зачем вспомнил.

Он держал ее в руках. А я держал себя в руках. Слова одни, смысл разный.

Мы все тут одни, а смысл разный.

Короче, чужой так легко у меня не отделается.

Красный. Вперед.

* * *

Неудача преследовала, мать ее. Неужто за неделю утерять квалификацию! Ерунда, ничего я не утерю. Бывает везуха и невезуха.

– Сколько у него? – спросил я Катьку.

– Всего? Семьсот двадцать плюс зеленая бумажка.

– А у тебя?

– Немного пока, восемьсот. А у тебя?

На Катькин вопрос я не ответил. Чего отвечать, если она и так все видит. Слежкой могла б заняться между делом. Значит, у него даже больше, чем у нее.

Зимой смеркается рано. К четырем начали зажигаться огни. Козел Генка продолжал бодать машинки, а везуха и его оставила. Он прогорал. И я прогорал. Не прогорай я, может, у меня было б другое настроение, и я отпустил бы его без наказания.

Раньше мы заработанное складывали в общий котел и делили поровну. Хвощ сказал, что это у нас ошметок социализма и пора с этим кончать. Непонятно, но мы поняли. Хвощ еще сказал про партнерство и конкуренцию в одном флаконе. Так что каждый теперь работал на себя, а лишний конкурент никому не требовался.

Генка ждал темноты, чтобы по-трусливому слинять. И я ждал, зная, что он захочет слинять, первое, и второе, что в темноте наказать его будет легче, без лишних посторонних глаз и всхлипов: ай, мальчики, что вы делаете!..

Он ушел в подземный переход возле «Армении» одним неуловимым движением. Метнулся – и нет его. Катька коротко свистнула, я услышал и крикнул своим: за мной. Надо бы крикнуть: за ней. Но убей меня Бог, если б я смог такое выкрикнуть. Я был и остаюсь вожаком. Не мне за девчонками бегать. Эти несколько секунд мы потеряли. Пока я топтался на месте, не видя, как и куда он скрылся, а Катька, видя и го-

ловой мотнув, куда, ждала моего крика-приказа, он, выиграв эти же несколько секунд, исчез, и было неизвестно, в каком из двух ответвлений, побежал ли напрямую, чтоб выскочить на другой стороне Тверской либо еще дальше, то есть ближе к Страстному бульвару, где четыре выхода, или налево, чтоб выскочить у памятника Пушкину, либо у «Известий», либо у магазина «Бенеттон». Семь выходов, семь вариантов – чересчур для четырех человек, даже если преследовать беглеца в разных направлениях поодиночке. Ничего не оставалось, как положиться на интуицию.

– Чечевица?.. – спросил я у него на бегу как у самого такого.

Он без звука выбросил правую руку, показав направление. Мы бросились к Страстному.

Не было никакой гарантии, что малый бросился туда же. Я на его месте постарался бы уйти от погони по многолюдной Тверской. В ту или противоположную сторону. Но под черепушку чужому не залезешь, тем более на расстоянии. Тем более окрестности ему не известны, как нам. То есть по логике действовать он не мог. А значит, пустил в ход ту же интуицию. Как одна интуиция взаимодействует с другой, хрен знает. Сталкиваясь, уничтожаются, или, наоборот, начинают позванивать, как Катькин голосок, похожий на материн хрусталь и сосульки на «Армении», так и так получается, что побег и преследование взаимодействуют на уровне, какой на трезвую голову не ухватить. А правда, что-то есть у

этой охоты от хряпнутого пивка или винца. Такое свечение внутри и одновременно озверение. Идешь на автопилоте, и боишься потерять курс, и ждешь, что вот-вот все разрешится к твоему ликованию. Или наоборот.

В несколько прыжков мы одолели ступени, но не в сторону кинотеатра «Пушкинский», а в сторону «Нового времени», не знаю, какое такое новое время имелось в виду, вывеска долго висела, потом ее сняли, и кинулись к бульвару. Эх, Джека бы сюда! Вот у кого был нюх. Сколько раз он выводил меня куда нужно, и выручал там, где без него хана. Но Джека два месяца как застрелил мент в моем подъезде, где, я считал, мы уже спасены. Этот глиста придрался, что пес без намордника. Но Джек всю жизнь без намордника, потому что умен и учен, не в пример глисте, а жизни его было всего ничего, три года. Да, он имел грозный вид, но послушен, как дитенок, потому что знал команды. Мои, ясно, не чьи-то. На чьи-то ноль внимания. Так воспитан. Хотел бы я посмотреть на пса, который слушался всякого, а не хозяина. Это всякий мог ему приказать что угодно, а он выполняй. Так у людей. У ментов тех же. Своих извилин недостает, заучат два-три приказа и хватают, согласно им, население, лучше то, какое кажется им мелким и бессловесным. Я гулял с Джеком, где обычно, возле «Павлика Морозова». Там и другие с собаками гуляли. Но в тот день никого, мы одни. И вдруг заявляется этот урод, похожий на глисту. Мне сразу не понравилась его вихляющая походка. Шлеп-шлеп в нашу сторону и гну-

савым голоском: почему без намордника, гы-ы? Подумал бы, если б было чем: в парке ни-ко-го, кому Джек может угрожать, в наморднике он или без. Я говорю: пес со мной, я за него отвечаю. А он: а за тебя кто ответит, шкет сопливый? Словечко *сопливый* меня здорово разозлило. А он еще добавил про родителей, мол, где они, веди давай к ним штраф платить, гы-ы. Я и замолк. А он, гад, наоборот, разговорчивый попался. Допрос устроил, ответов требует, но я уже как в рот воды набрал. Со мной бывает. Нападет молчун – никто мне рта не раздерет. Я не знаю, что было б, если б кто разодрал. Или я сам открыл, что б тогда оттуда полилось, какая вонь и грязь. Или кровянка. Такое бешенство нападает, что сладу с собой нет. А Джек же ж все чувствует. И в эту минуту почувствовал, как никакой человек не сумел бы почувствовать. Возьми да зарычи. Негромко так. Сдержанно. Про себя. Для умного знак: отойди и не пахни. А этот глиста как загундосит: что-о-о, еще рычать на меня, при исполнении!.. Это собаке. Пусть собака особо вникнет, что он при исполнении. Ну не долбаный? Я стою, как каменный, с *родителями* и со всем, чего он успел нагородить. А Джек уже рычит вовсю. Я понимаю, что лучший выход – драть со всех ног, и немедленно, пока дело не запахло жареным. От пидора же этого чего угодно можно ждать. А в ответ – от меня и моей собаки. Я имею в виду, наших ответных мер. А с места сдвинуться не могу. Встал и точка. И тут Джек тихонечко так зубами потянул за штанину: мол, двигаем отсюда, Вов. И меня отпусти-

ло, и мы с Джеком побежали. Но как их учили, ментов: если цель бежит, пали в нее. То есть сперва в воздух, потом в нее. Он и давай палить. Преследует и палит. Палит и преследует. Дали им, террористам, в руки боевое оружие, мирное население пугать, а бандитов они сами пугаются. Мы бежим, и я только пса уговариваю: Джек, рядом! Потому, если он обернется и, не дай бог, прыгнет, менту не сдобровать. Пули в собаку или в себя я отчего-то не опасался, а за жизнь мента поганого опасался, дурак. Скажи я *фас*, Джек бы его растерзал в два счета, потом ищи свищи мою собачку и меня. Зато собачка была бы жива. Но я не сказал. Пересекли мы с Джеком в два счета Конюшковскую, взбежали на взгорок, а там наш дом. Мне показалось, что гад отстал. Я, в общем, спокойно открываю дверь в подъезд, отдыхаюсь во тьме, у нас же ж никогда лампочка в подъезде не горит, а Джек вдруг такой странный звук издает, ультразвук, скорей. И дальше, как в кино, все медленно-медленно. Я оборачиваюсь. Прямоугольник света. То есть дверь распахнута, и свет с улицы, и в прямоугольнике длинная черная тень. Щелчок. И Джек падает. И струйка темная из него потекла. И все. Больше его нет. Все.

Не хочу думать и вспоминать об этом. Да мне и не надо. Потому что я никогда не забываю. Все четыре месяца помню, каждый день и каждую ночь. Ночь, поскольку сон один и тот же снится, как мой золотистый Джек жив, я просыпаюсь от радости, ищу его рукой на тахте, он же всегда со мной спал.

А его нет. И я вытираю рукавом рубашки мокрое лицо. От пота ночного. И все помню и ничего не забываю.

Дымы отовсюду ползут в небо, вьются, играют, как бесы. С чего-то поднял глаза кверху и заметил, хотя ваще-то не до неба. Наш интерес не наверху, а внизу. Мы сами – собаки-ищейки в городе, где нельзя взять след, потому что затоптаны все следы и потому что наши пра– и пра– не были натасканы на поиск, как пра-, пра– и пра– Джека. Наши тоже были натасканы, но на другое. Я ж говорю, охота шла всегда. И идет. У людей малиновым вареньем намазанная, с сюськами-масюськами, как Чечевицын говорит. У зверей не намазано. У них по-честному, по-зверски, по инстинкту. У нас по-подлому, по-людски, с подсказкой ума.

Я, люди, такой же, как вы. Не хуже и не лучше. И я ищу Генку, чтобы набить ему морду.

И я найду мента, который убил мою собаку, чтобы убить его.

* * *

Мы спим с нашими девчонками.

И Катька притащилась со мной ко мне домой, чтобы спать.

Интересно: снаружи холод, щеки обмерзли, а внутри жарит. Шарф потерял. Молния на куртке разошлась. С ботинок грязи натекло.

Катька взяла тряпку, вытерла. Маня никогда не вытрет.

Тряпка лежала для лап Джека. Так и осталась. Ему я лапы вытирал. Себе нет.

Сонька еще в больнице, полная красота. Но мы занимаемся этим и при Соньке. Запрет Соньку в другой комнате, и порядок. Скажем сидеть и делать уроки. Сидит и делает. Или кукле Сонечке наряды шьет. Когда тетя Тома лысая подарила, Сонька ее своим именем назвала. Но не Сонька и даже не Соня, а Сонечка. Может, что ее так не зовут. Обожает переодевать Сонечку. Часами сидит, примеривает, перемеривает, что запертая, что нет, послушная. А что, может, метод? Надо другим родителям сказать. Пусть попробуют. Хотя попробовали бы меня запереть, а сами этим заняться!

Я Соньке не родитель. Я вместо. Я с ней и грубым бываю. Тогда она плачет. А у меня скребет. А бывает, не скребет. Я понимаю, она мала еще. Ей без матери хуже, чем мне. Но у меня свои дела. Не могу я с ней с утра до вечера тюткаться. А то подойдет, прижмется. По волосам погладишь, за это все стерпит. В больнице не гладил. При других стыдно. И она отдельно, стесняется. Как взрослая. Доктор сказал, через три дня выпишут.

Я могу думать о чем угодно перед этим. И во время тоже. Катька сопит, глаза закатывает. Кино насмотрелась. А то у матери научилась. А мне лишь сперва было не по себе, теперь нормально. Когда мы вдвоем, она зовет меня Вовка-морковка. Назвала один раз при всех. Заработала щел-

банов. Пусть скажет спасибо, что одних щелбанов. Про *морковку* первый раз сказала, когда заставила трусы снять. Хихикает и тычет пальцем мне в низ живота: морковка, морковка! Я глянул: правда, вырос, как морковка. Я уже не дитя, знал, что *морковкой* делают. Но что интересно, стоит ей теперь сказать *морковка* – я раз и готов. Вот опять – мысль, и от мысли заводишься. Какая мысль – не мысль даже, а слово.

Я с Катькой, Чечевица с Маней. Мы у меня, они у Мани. Маня и тут как мужик, а Чечевица как девчонка. Смеху! Иной раз меняемся.

У Мани папаша сторожит гараж. Сутки в гараже, двое дома. Дома хлещет водяру, в гараже отсыпается. И мамаша такая же. Не работает, по помойкам шастает, собирает и приносит, включая еду. У Мани есть еще сестры старшие. Одна замуж вышла в Подмоскowie. Вторая уехала в Египет по турпутевке и пропала. Домой не возвращается. Писем не пишет. Непонятно. Маня говорит, она там в каком-то бизнесе. Может, и в бизнесе. Маня про *морковку* не знает. Пару раз хотел сказать. Чтоб посмотреть, будет тот же эффект или нет. Нарочно снял раз трусы и показал. Но Маня совсем тупая. Или я тупой. Возимся, как положено, а в чем разница, не знаю, как объяснить. Я имею в виду, между ней и Катькой.

Чечевица как-то предложил всем вчетвером заняться этим. Журналы иностранные приволок, где картинки, переводил, что под картинками написано, мы ржали, как лошади, а он целиком на английский перешел, тогда уж мы по полной

оторвались.

А предложение не прошло. Может, еще пройдет. Жизнь большая, все впереди.

Между прочим, Катька первая начала. Вов, говорит, Вов, а давай, говорит, Вов, я тебя приласкаю. Я хмыкнул, а у самого внутри все упало. Сначала упало, потом загорелось.

Катька как капуста. Ботинки, носки, треники, рейтузы, колготки, штаны. Сколько они на себя напяливают, жуть. Пока снимет все, замерзнешь ждать. Я натянул одеяло под самый нос, лежу, гляжу, дрожу. Сначала мы отворачивались. Мы от них, они от нас. Делали вид, что нам не интересно. По-тихому подглядывали. Как у них устроено и как у нас. Больше не отворачиваемся. Она лезет ко мне под одеяло, холодная, как лягушка. А через пять минут оба, как пирожки горячие. Иногда она сразу после этого домой бежит, иногда остается. Тогда едим чего-нибудь из холодильника, смотрим телек, можем в картишки перекинуться. Не уроки же совместно любовникам делать. Это Катька сказала, что мы любовники. Я чуть в аут не выпал. Любовники. Мы. С тобой обхохочешься, подруга. Мы партнеры. Партнеры и соперники. А это необходимость. Так устроено. Лучше, чем самому себя, когда девчонка тебя.

Катька умеет, потому что ее мать проститутка. Я не ругаюсь. Это официально. Ну, может, не официально. А может, и официально. Точно не знаю. Знаю, что не по улице ходит, а работает по вызову. Одну, которая на улице, я часто ви-

жу. Возле памятника Шаляпину ошивается на углу Садового. Знакомая бомжиха говорит, она самая старая проститутка города Москвы. Типа звания. Бокастая, животастая, как бочка. Круглый год ходит в красном клифте и кожаной юбке выше колен, из-под которой ноги-бутылки торчат. Стрижена почти под ноль, остатки крашены в белый цвет, а челка, торчком, в черный. Примочка такая. Физиономия – чистый крокодил. И кожа крокодила. Но сам видел, машины останавливаются, сажают ее и увозят. Надо же, на такое чудище, а все равно любители находятся. А Катькиной мамашке звонят, она сама садится в свой «пежо» и едет, Катька рассказывала. Дома не принимает. Говорит, дом есть дом, семья есть семья. То есть они с Катькой семья, потому как отца у них отродясь не водилось. То есть ясно, что без отца Катька не могла родиться. Но в доме ни фото, ничего. А мамашкиных много. Я поначалу увидал ее на фото, а уж после так. Так она еще лучше. Пожилая, но все равно красивая, со старухой у памятника Шаляпину никакого сравнения. Лицо бело-розовое, как зефирина. Глаза голубые, небо в них плавает. И вся как кувшинчик с ручками. Ходит, покачиваясь, и Катьку то и дело целует. Вова, говорит, защищай Катю, Вова, никому в обиду ее не давай. Катька от поцелуев морщится, а это место, где мать целовала, берет и вытирает. У них отношения: мать подлизывается, Катька командует. Катька говорит, они с матерью антагонисты. Не понял. Но когда фото мамашки разглядывал, Катька рот кривила и сплевывала прямо на чи-

стый пол. Я понимаю, у меня пол грязный, а тут же все вылизано. Это ее Маня научила плевать. Катька сказала, что и деньги пошла зарабатывать, чтоб свои были, у матери не брать. Хотя та готова в молоке ее купать и сливками смазывать. Показала наряды, какие мать напкупала, а она нарочно ничего этого женского не носит, а носит пацанье. Мне ихние наряды по фигу, и отношения по фигу. Но интересно. Катька на мать нисколько не похожа. Ни кожи, ни рожи, как любит говорить тетя Тома злыдня. В отца, должно, пошла, которого не было. Рыжая, конопатая, убила дедушку лопатой. Дразнилка школьная. Может, жаловалась на кого в школе, вот мать и просила защитить. Но навряд ли. Скорей, так сказала, просто чтоб что-то сказать. Взрослые часто, я заметил, говорят, чтоб что-то сказать. Неясно, зачем.

* * *

Мы с Катькой в одном классе, дружбаны. У нас редко мальчишки с девчонками дружат. Влюбляются, да. А дружат, нет. Я этим влюбленным щелбаны ежедневно раздаю. Кто сопли распускает, кто кривляется, из себя меня корежит. До этого года редко было. Ну, один кто-то за кем-то бегал. Ну, два. А в этом году как зараза. Началось с одной парочки и пошло-поехало. Глазки туманные, вздохи-выдохи, походочка умереть-заснуть, несет, как от козлов. Я ж говорю, заболели. Мы с Катькой со смеху мрем. Мы-то уж все прошли

и смотрим на них сверху вниз как опытные: ну-ну, ребятишечки, учитесь, познавайте жизнь, не из учебников, а как она есть, настоящая. А учителя, те же тоже запах чувят. Сло-ниха наша, классная, химичка, Вер Пална, сдуру принялась объяснять нам, какие химические реакции лежат в основе, ну, этого. На минуту перепутала химию с половухой. Гово-рили, что с нового года введут половое воспитание. Не вве-ли. Специалиста не нашли, или планы изменились. Видать, заместо Слониха и ринулась в бой. Слониха – чудила. Ее все касается. Где бы что бы – везде сунется. Во-первых, она *сол-датская мать*. Движение такое. Притом, что я не слыхал, чтоб лично у нее были дети, солдаты там или не солдаты. Во-вторых, таскается на какие-то встречи с такими же чок-нутыми на этом, как его, либерализме. Явится на урок, сияя, и, задыхаясь: это не обмен мнениями, нет, это, это, это бу-сы из жемчуга, где каждый нанизывает свою жемчужину на общую нить. Изложит эту чушь и глядит по привычке не на нас, а в окно. А в глазах мокро от возбуждения. Противно. У нас-то глаза сухие. А когда сухие, замечаешь все. Когда мокрые – ничего. Мы, каждый, занимаемся своими делами, а она продолжает. Она еще, кроме прочего, стихи пишет. И вот читает, вот читает. Это на уроке химии! Счас вспомню. Я не знаю, не знаю, не знаю покоя, рассказать вам, спокой-ным, что это такое... Ну, можно один раз сказать: я не знаю. Ну, два. Но три! Можно подумать, у нее в запасе всего два-три слова и есть. И опять в окошко смотрит. У нее астма.

И, может, она на волю рвется из душного класса, как птица. Слониха – птица. Уписаться можно. Но все равно у нее в запасе больше слов, чем, допустим, у историка Владлен Прохорыча, погоняло – Прохаря. Он военрук. Историк по совместительству. И вся история у него в ряды построена. Как в армии. Выступает феодальный строй, за ним крепостной, за крепостным еще какой-то, а в конце славные ряды коммунизма сменяются дикими рядами капитализма, но каждый раз, согласно историческому закону, побеждают революционные массы, и они опять скоро выйдут на арену истории и опять победят, обещает Прохаря. Если я чего-то не путаю. У меня что по истории, что по химии твердые тройки. Твердые, потому что ниже тройки у нас не ставят, иначе у учителей неприятности. А так, наверно, были б двойки. Мне нравится Прохаря. С животиком, но крепенький, кроссы бегают и обожает боксировать. Рассказывает урок – и раз, хук с правой. Продолжает – раз, хук с левой. Поневоле запоминаешь. Например, как наш царь Петр велел нашим боярам сбрить бороды и прорубил окно в Европу. Где, забыл. Надо спросить. Или как Россия подряд била турок, французов, поляков, немцев, австрийков. Ну и правильно. Они к нам через окно, а мы их взад коленом. Я поднял руку и задал вопрос, в том смысле, что на кой нам это окно, нельзя его обратно заколотить? Прохаря любит, когда задают вопросы. Он говорит: активный урок. А мы когда спрашиваем, тогда он не успевает спрашивать, что нам и надо. В тот раз чуть не обни-

маться полез. Настолько ему понравилось, что я спросил. Вова, говорит, запомни, Вова, и вы все запомните, и так обвел руками класс, мы еще заколотим это окно, и все опять будут бояться нас, как прежде. И – хук справа. В воздух. Катька встает и невинно так интересуется, зачем, мол, нужно, чтоб нас боялись? Сиди она рядом со мной, я б дал ей в лобешник за глупость. Но мы тогда поругались, и она от меня отсела. И тут звонок зазвенел на перемену. Девчонки часто разводят ля-ля на ненужные темы. Несерьезный народ. Что Слониха и Прохаря в контрах, ежу понятно. *Солдатские матери* против *Прохарей* по определению, говорит Маркуша. Но у Прохарей и с Маркушей разногласия. А у меня у Маркуши у единственного четверка. Я хорошо считаю и строю геометрические фигуры как родные. Уже по одному по этому я не могу не быть на стороне Маркуши. Он говорит, у меня развито полушарие, которое отвечает за математику, а за историю нет. Но, говорит он, у Прохарей то, которое за историю, не развито точно так же, как за математику. Смех. А он продолжает: неудивительно, что ты не любишь истории, хотя и жаль, пригодились бы. Беседы эти со мной Маркуша ведет не на уроке, а когда идем домой. Мы совпадаем по дороге. И иногда по времени. Я чувствую, мне хотелось бы, чтоб совпадали по всему. Но он держит меня на расстоянии. И я это чувствую. Маркуша – Марк Наумыч, у него погоняло по имени. Умный, как не знаю кто. И никто так не позволяет себе разговаривать с учеником, как он. Не притворяться и не

врать, я имею в виду, не делать вид, как все делают, и никогда, чтобы просто что-то сказать. И здесь я здорово путаюсь. Как могут нравиться два противоположных человека? Один нравится за силу. Второй – за ум. Притом у историка все элементарно. А у математика, как ни странно, наоборот. Я однажды взял и прямо спросил Маркушу, в чем дело. Маркуша пожатками толстыми губами, как обычно жамкает, когда думает, поэтому он такой медленный, а не скорый, и говорит: математика, брат, сродни, брат, поэзии. И тем окончательно меня запутал. Поэзия – у Слонихи. Я не знаю, не знаю, не знаю покоя... Или он пошутил? Он любит шуткануть. И не всегда поймешь, когда шутка, а когда нет. Да, сложна жизнь.

Мы пошамали с Катькой, и Катька прозвенела своим колокольчиком:

– А кто у вас готовит?

Это вызвало у меня тихий приступ веселья. Кто-кто, дед Пихто. Кто может готовить в доме, где парень и маленькая девочка?

– А эта твоя тетя Тома? – спросила Катька.

Мое веселье зашкалило. Лысая тетя Тома, наша опекунша, брала нашу пенсию за маму и выдавливала, как из тюбика пасту, по чуть-чуть, чтоб нам не сдохнуть с голоду. Я не сомневался, что она и опекунство оформила из жадности. Мы были ей никто. И она нам никто. Она знать нас не хотела, когда мать была жива. Никогда у нас и не появлялась. Зато отца, когда был жив, то и дело к себе вызывала, после

чего тот возвращался выпивши. Так-то он не пил. Я на самом деле понятия не имею, что там у них было, потому что мама всегда дверь закрывала, когда они с папой выясняли отношения. Теть Тома сама собой отсохла, как папа попал под машину, а мама тогда ходила с животом, Сонька-то родилась уже без папы. И присохла, едва мы остались одни. К папиному с мамой наследству присохла, ежу ясно. Квартира, то-се. Всегда ходит и поглаживает наши вещи. С чего б ей поглаживать, если не держать в уме приватизацию или как там? Не дождется. Она так и так старше, потому помрет раньше. А мне как восемнадцать исполнится, сразу все на себя оформляю, только она чего и видела. Сонька, дурочка, один раз, совсем малая была, потянула за косынку, которую она носит вместо шляпки, не снимая, по сезонам только меняет, летом простую, зимой шерстяную, косынка-то и слети, а там сплошь плешь. Теть Тома зеленая стала, как лягушка, и объясняет, что это на нервной почве, мол, когда вашего папу из-под машины извлекли. Думает, нам дело есть до ее нервной почвы. У нас своя нервная, мы же с ней никому не навязываемся.

Катка с трудом отмыла тарелки от остатков винегрета, воды горячей не было, холодная одна, и говорит:

– А здорово мы его вычислили, Генку.

Здорово, правда. Мы были в тот вечер как самонаводящее устройство. Или он – самонаводящее. Кто навел, знать бы. Похоже, что в нем застряли Каткины слова: Тверскую пере-

сечь, кинотеатр проехать, слева по бульвару длинное светлое здание с колоннами. Он и вышел прямо на него, словно кто мышью водил в его компьютере, а ему невдомек. И за колонной, у входа в больницу, спрятался. Чечевица ухмыльнулся, когда увидал его: удобно, если что, сразу в морг. Мы бы промчались мимо во тьме как пить дать, если б не случайные фары случайной машинки. Когда долго с чем-то имеешь дело, устанавливается связь, клянусь. Машинки с нами, как люди, общаются, привыкли. Эта выкручивалась на проезжей части таким образом, чтобы фары осветили колонну, а за ней, внизу, не кошка, не собака, а человечья коленка торчит. Генка? Так и есть. Вчетвером мы могли измолотить его от души. Но мы так не поступили. Мы так не поступаем. Всегда стоит помнить: заступишь за черту, и с тобой заступят. Это правило. Лучше его не нарушать. Я взял козлину на себя. Один на один, по-честному. Хватанул за куртец и сходу отодрал ему рукав. Он заканючил, жалея рукав и уступая инициативу. Я двинул ему ногой промеж ног, как в кино показывают про полицейских и бандитов. Я не знаю, кто мне нравится больше и кем бы я хотел быть, полицейским или бандитом. Если у них – полицейским. Они там настоящие. Друга спасают, детей, женщину какую-нибудь, чаще блондинку, при этом есть жена, которая его понимает, а может и нет, тогда дополнительно переживаешь, как у него с блондинкой сложится. Но и за бандита переживаешь, когда он с друзьями или один берет банк и воюет с целой толпой полицейских. В

этом случае у полицейских ничего не вытанцовывается, а если вытанцовывается в конце, то числом, а не умением. Умеет всегда кто-то один. И если один на один умнее и ловчее, тогда этот выиграет, а тот проиграет. Смысл такой: много – лопухи, герой – один. Но у нас я не хотел бы быть полицейским. Во-первых, потому что у нас их и так нет, а есть менты. По телеку у ментов рожи вроде тоже. А по жизни – нет. По жизни у меня есть главный враг, и он мент. Из одного этого вытекает, что с ментами мне не по пути.

От моего тычка Генка схватился руками за свое богатство и повалился на колени. Это позиция побежденного, а побежденных не бьют. Я приказал, стоя над ним, отдать сюда зеленень. Он полез в карман, протянул покорно. Я взял. И мы поскакали на другую сторону. Там много лавок. Накупили пирожков, кока-колы, отметили это дело. Хотели пивка, но оказалось, пива теперь на улице не продают, депутаты решили. Вот люди. Нечего им делать – право на уличное пиво у народа отнимать. У них-то все под рукой, или им по здоровью нельзя, сам не ам и другим не дам. Чечевица меня поправил: себе всегда ам, другим не дам. И ухмыльнулся. Но кока-кола – тоже будь здоров. На мой вкус, сладкое лучше горького. Никому не признаюсь, засмеют.

Не, правда, суперски мы его нашли и отодрали. Я отодрал. Потому что я Король. И настроение у меня поэтому было суперское.

Катка спросила, как большая:

– Не хочешь проводить?

Делать было все равно нечего, я достал старую куртку, на новой-то молния испорчена, Катька надела свою, и мы пошли.

* * *

Катька затащила меня к себе. Мы как журавль и лиса, те тоже то и знай ходили друг к другу в гости. Только они не заставляли один другого, а мы не расставались. Сегодня, я имею в виду. Отчего, не знаю. Может, что сестры нет, и дом без нее пустой. По жизни я был у Катьки раза три, не больше. Учебник какой-то брал, раз, на пару минут заскакивали перед кино, два, три, она зазвала, когда матери не было дома, и мы сидели как дураки, молчали, и было скучно, и тогда она стала показывать фотографии, на хрен они мне сдались.

Сегодня мать была дома. Ходила, курила, в халатике, закачаешься. Голубой, отделанный чем-то вроде меха, а сквозь все просвечивет, прозрачный, как занавеска, смотреть неудобно. Голос, как у Катьки, хрустальный, голоса здорово похожи.

Я раздался в плечах, и куртка мне стала мала. Пока стаскивал, Катька, разоблачившись, звенела о чем-то в комнате. Я видел, как мамашка засияла, что эта шмакодявка к ней снизошла, и закивала: да, да, хорошо, да. Я вошел – Катька мне: расту, говорит, что ли, аппетит волчий, а у тебя? По-

ка не сказала, я и не думал, а сказала, сразу в животе забурчало. Моим засохшим винегретом не больно-то наешься. А из кухни ароматы поплыли, Боже ты мой, слюнки потекли. Мамашка выкатывается в своем ничего: руки мыть, господа! Это мы господа, ну-ну. А запах от нее не кухонный, а как от той тетки из машины, только еще крепче. От Катьки так не пахло. От Катьки пахло воробьем. Я нашел больного воробья возле подъезда, давно, Сони еще не было, Джека и подавно, не с кем живым поиграть. Воробьишка нахохлился, жалкий, мокрый, я давай на него дышать, чтоб обсох и согрелся. И слышу, он пахнет, зараза, как что-то мелкое и пестрое, типа пшеницы какой-нибудь или овса. Я не говорю, что пшеница и овес, но так показалось, что что-то пестрое и мелкое типа. И я обдуваю его, а сам нюхаю. И внезапно догадываюсь: друтому делаешь – самому достается. Закон. Сколько лет мне тогда было – сопляк, а законы уже начал понимать.

Короче, отправили меня мыть руки. А я в ванной у них никогда не был. Не пришлось. Как и в уборной. Не придешь же, не скажешь: хочу в уборную. Терпел, если приспичивало. В комнатах вылизано, я уж говорил, но как в ванной вылизано – что-то отдельное. Флакончики, стекляшечки с разноцветными жидкостями, губочки, все сверкает, а душ и сушилка для полотенца и еще какие-то железяки – золотые. Золотые ли нет, не уверен, смотрятся как золотые. А я ботинки, как у себя дома, не разул, и они не сказали. Гляжу, грязи от меня на полу! Схватил одну губку, давай вытирать.

Ёлы-палы, стекляшку задел, она свалилась, крик, треснула, жидкость малиновая из нее потекла, и запахло, как от мамашки. Я губкой орудую, а все маслянистое, никак не вытрется, я аж взмок. Едва хотел дверь запереть, чтоб не помешали, тук-тук, мамашка затыривается и спрашивает: у тебя проблемы? А проблемы – вот они, на виду, пузырятся в разные стороны. Ну, думаю, скандал сейчас грянет. А она взмахивает рукавом своим широким, так что в него кусок живой сиси с волосяной подмышкой видать, и небрежно бросает: оставь, говорит, Нюся придет, уберет. Цапает меня за бицепсы, разворачивает спиной к себе и выталкивает из ванной. Я считал, Катька единственная, а оказывается, еще Нюся есть. Катька потом объяснила, что к ним дважды в неделю женщина ходит, Нюся называется, готовит и убирает, отсюда весь блеск. Хорошо, видать, зарабатывает мамашка, раз они себе позволяют. Про стол не говорю. Позвали в кухню, кухня белая-белая, холодильник, шкафчики, занавесочки, плита, все белое. На белом столе стоят бараньи котлеты, кулебяка с капустой, рыба, плюс колбаска, ветчинка и какой-то рисовый салат. Настоящие гости. Я как глянул, сразу понял, что все съем, будто век не кормили. У нас ничего этого и близко нет. Я сам готовлю. Сосиски там, яичницу, гренки жарю, суп умею перловый и фасолевый, винегрет и еще по пустякам. А так Соня в школе ест, я перехватываю там же, тетя Тома принесет раз в месяц пару отбивных и пару пирожных – большой государственный праздник. Когда деньги

есть, хачапури себе и Соне покупаю. Мы любим хачапури, с поджаристой корочкой, с молоком. А в больницу я бульон куриный варил и носил, тетя Тома сказала, больным хорошо бульон. Я ем, а мамашка смотрит на меня, то ли я дефективный, то ли сама меня скушать хочет. Забыл про звонки сказать. Несколько раз телефон звонил. Она всякий раз отвечала, как капризуля: не-а, не-а, не могу. А один раз резко: я провожу время со своим ребенком и с другим ребенком, могу я проводить время с детьми, неужели непонятно! На другом конце поняли и повесили трубку. Катька говорит: какие дети, сказала бы правду, что на больничном. Никаких признаков болезни у мамашки я не обнаружил и решил, что Катька придумала отговорку. Но Катька с темы не слезла. А что, говорит, в принципе, должны давать больничный, когда люди не могут исполнять свои профессиональные обязанности, или нет. Я понял. И обе сразу стали здорово противны, с их болезнями и обсуждениями при постороннем, по сути, человеку. Старшая стукнула младшую по затылку, в виде шутки. А та как вскочит, с перекошенной физиономией: еще раз дотронься! Эта засмеялась. И я почему-то поддержал ее смех. Катька зашипела: у, ш-ш-шалавы, с-с-спелась! А мать сделала холодное лицо и говорит: всегда была на кошку похожа, не зря в детском саду дразнили – Котька драная. Я вижу, что попадаю в центр воронки, закрутит – держись, пора делать ноги. На мое счастье, очередной звонок, мамашка взяла трубку – и сделалась такой текущей-лю-

щей-переливающейся, але, таким текучим-льющим-переливающимся, але, говорит и уползает змеей из кухни в комнату беседовать, чтоб не слышали. У них радиотелефон. А я предпринимаю последнюю попытку устаканить ситуацию. Катя, говорю, ну чего ты злишься, брось, она не знает, как тебе угодить, а ты... Не вмешивайся в чужую жизнь, отрезает Катка. И я, вместо того, чтобы встать и гордо удалиться, как хотел, сижу как пришитый, и еще накладываю себе рисового салата, хотя сыт по горло. Ну вот, и глазки заблестели, вернулась и проблеяла мамашка, словно мне лет семь или восемь, не хватало, чтоб за подбородок потрепала. Я говорю: а закурить можно? Нарочно басом. Катка чуть не поперхнулась. Она знает, что я не курю. Мамашка спрашивает: а ты какие куришь? Отвечаю: а вот ваши. Она протягивает пачку: бери. А они у нее длинные и тонкие, я таких длинных и тонких не видывал. Катка глаза сузила, правда, как кошачьи щелки стали, и цедит сквозь зубы: это женские. И я уже не знаю, брать мне эту сигарету или не брать. Мамашка смотрит на меня, я на нее, и пока мы играем в гляделки, Катка опять как бомба взрывается: тебя пожрать позвали, голодающего, а не дымить, одной мало, так ты еще воздух будешь портить, давай, пожрал и чеши отсюда, урод недоделанный!

Все. Дождлся. Поужинали.

Вскочил, в секунду собрал вещички и – никак не могу открыть их придурочный замок, богатства ихние охранять вставленный. Катка выскакивает в коридор и замирает, как

в игре замри, не помогает, ничего, а в глазах слезы. Пойми их после этого, бабье. Что-то щелкнуло, замок сработал, я свободен. Очутился на темной, без прохожих, улице. Уже не злой, но и не добрый. Какой, не знаю, пустой какой-то. Все ихние цирлих-манирлих, как тетя Тома говорит, встали поперек горла и стоят торчком. Дура, дура она и есть. Катька, я имею в виду. Как... забыл, зверьки такие бывают, окраску меняют в зависимости. На Пушки одна, за партой другая, балуемся – третья, а сейчас ваще. И мамашка фрукт. Из ванной выталкивала, руками бицепсы мне трогала и вся шелестела: смотри, какой ты большой стал. Как будто она помнила, какой я был маленький. Я не помню, а она, видите ли, помнит.

* * *

Из прошлой жизни я отчетливо помню, как мы с мамой под Новый год ходили лампочки на елку покупать. Елочные игрушки у нас были, а лампочек не было, и я приставал к маме: купи да купи. И однажды она сказала: завтракай скорей, идем за лампочками. Я даже проглотил противную овсянку без звука, и мы пошли. Сели в метро на Краснопресненской, проехали остановку и вышли у Киевского вокзала, а там рынок и много-много лавок, в том числе с игрушками и электрическими гирляндами. В первой лавке продавец достает коробку и включает гирлянду в электросеть. Мама спрашивает: тебе нравится? А я замер, так было краси-

во. Мама интересуется, сколько платить, и достает кошелек. А продавец говорит: погодите, у меня еще есть. Открывает вторую коробку и включает вторую гирлянду, красивей той. Мама спрашивает: а эта сколько? А у продавца в руках третья коробка, и третья гирлянда светится покруче тех двух. Я дергаю маму за рукав, но у нее скучное лицо, и она скучным голосом говорит продавцу, что хочет заглянуть в другие лавки, просто, на всякий случай, чтоб сравнить, но потом вернется и купит ту, которая ребенку понравилась больше всех. Мы идем дальше, и везде повторяется: мы смотрим одно и то же и уходим. И я не понимаю, чего мы сравниваем. И тут мама говорит: что-то, сынок, я устала ходить-бродить, везде одинаковое, купим вот эту гирлянду и поедем домой. Я говорю: ты же обещала тому дяденьке! Я не могу ей сказать, что у дяденьки лампочки, которые уже приросли ко мне, и вернуться без них мне все равно, что вернуться без руки или ноги. А она говорит: да он давно забыл про нас, на рынке все все всем обещают. И я догадываюсь, что если она не выполнила обещания чужому дяде, то мне и подавно не выполнит. И я начинаю противно хныкать, и мать бросает мою руку и уходит вперед, и я хнычу еще противнее, и у меня текут сопля из носу, и мать возвращается с перекошенным лицом и бьет меня по щеке, а потом громко ревет сама. И вот всю жизнь мне почему-то жалко ее, как маленькую. Не себя маленького, а ее.

Джек заслонил эту историю. Взял и заслонил. И получи-

лось, что собака важнее человека. Да, так получалось.

Домой идти не хотелось. Чего там делать, ни Джека, ни Соньки. Можно, правда, телек посмотреть. Или, на худой конец, книжку почитать. У меня лежали две: «Вынужденное признание» Ф. Незнанского и «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. Гоголя. Взял обе в библиотеке. Первую для себя, вторую в классе задали. Ежу понятно, что первую проглотил, про этого следака Турецкого, как он раскрывает заговор тайной организации, в которой состоят высшие чины нашей страны, но интересно, когда все уже знаешь, а раскручивается заново, и ты в тени, не участвуешь, а на деле и есть главный, потому что у тебя все карты на руках. Вторую книжку раза три собирался открыть, но так и не смог, ботва. Поэтому позвонил из автомата Чечевицыну и спросил, что он делает. Нарочно так спросил, чтоб он спросил, что я делаю, и позвал зайти к нему. Он спросил и позвал. Я никогда к нему не ходил. А он никогда не звал. По телефону я ему звонил по ерунде, и он мне звонил, и ко мне заходил по случаю, а я к нему нет. Надобности не было или он так поставил, а я не заметил, не знаю. Я был готов повесить трубку, когда сообразил, что он не сказал адреса, а без адреса я его не найду. Я закричал в трубку: постой, а куда заходить? Он рассказал. Я отправился.

Я сказал, что Чечевицын жил в Москве, как все народы. Наврал. Не как все. Чечевицын жил в переулке на Старом Арбате. Но не в том дело, а в том, что он жил в доме с охраной. Просто так попасть к нему было невозможно. Я нажал кнопку, какой-то мужик спросил, к кому. Я ответил. Он еще спросил: а вас ждут? Я повторил для большей убедительности два раза: ждут-ждут. Мужик говорит: а как вас представить? Я чуть не упал. Топтаться на морозе, пока они соизволят все выспросить, а может, и проверить. Я сказал: Король, представьте меня Королем. Сперва ничего, затем что-то звякнуло, и голос сказал: открывайте, ваше величество. Я нажал на тяжелую дверь, медью окованную, и вошел в шикарное помещение: колонны, мрамор, на ступеньках ковер, зажатый такими блестящими металлическими штука-ми, сбоку столик, на нем лампа под абажуром, телефон, компьютер, и сидит военный, похоже, что вооруженный. Ну, не военный, а военизированный, как все они, охранники. Говорит, не хмуро, а с улыбочкой: третий этаж, квартира семь, лифт справа. Я говорю: я пешком. Взлетел на третий этаж, только меня и видели. А уж там распахнута дверь, и Чечевицын на пороге собственной персоной.

– Чего не на лифте? – спрашивает.

– Замерз, согреться, – отвечаю.

– Заходи, – зовет, – у нас тепло.

Захожу. Ёлы-палы. Куда там Катькиной квартире, дыра по сравнению. А если Катькина – дыра, что говорить о нашей с Сонькой. Фавела. Если я правильно помню из кино типа «Генералы песчаных карьеров». Комнаты я после сосчитал. Семь. Если с кухней и ванной. С уборной восемь. Уборная такая, что ее надо считать отдельно. Я как поразился, так не счел нужным притворяться. Ходил, разинув варежку, заглядывал в двери, осматривал все эти покои издали, но все равно. Спальня отдельно, гостиная отдельно, рабочий кабинет, другая спальня. В общем, опять кино, но не про фавелы, а «Как выиграть миллион». Не, «Как выиграть миллион» – передача с хохмачом Галкиным, а фильм – «Как украсть миллион». Ну неважно.

Я говорю:

– Чечевицын, это ж уписаться, как ты живешь, и хочешь сказать, что один и есть владелец?

Он криво усмехается:

– Вообще-то нет. Вообще мы с отцом вдвоем живем.

– Вдвоем? – удивляюсь я.

– Ага, – кивает Чечевица. – Видимся редко. У каждого свое расписание.

– Как это? – спрашиваю.

– У него свои дела, у меня свои. Пересекаемся не часто. Можем поужинать вместе или позавтракать. А дальше разбегаемся в разные стороны.

– Ни фиги себе, – я провел кулаком под носом, с мороза оттаяло. – И в какую сторону сей момент побежал?

– Он редко сообщает. Каждый раз сообщать – я не запомню.

– Ночевать приходит?

– Как правило, да. Как исключение, нет.

Ничего похожего я от Чечевицы не ожидал. Совсем другой паренек, чем на Пушке. Чего он там забыл? Пока обменивались вопросами-ответами, он достал бутылку вискаря, я бутылочку быстро узнал, по фильму «Крутой Уокер», плесканул в толстые стаканы, как в «Уокере», я едва успел ко рту поднести опрокинуть, как Чечевица поднял вверх палец, предупреждая:

– По глотку.

А то я не видел. Видел. В фильмах всегда по глотку делают. Мы не сели, а упали в мягкие кресла. Чечевица взял со стеклянной стойки пульт, врубил телек, не такой, как у нас, а плоский, с большим экраном, и мы стали тянуть виски по глотку, и я точно почувствовал себя как в кино, а не в жизни. Меня сразу развезло, с маленьких глоточков, и стало так здорово, как никогда не бывало. Показывали программу новостей, и там мужик в тюрьме, то есть не в тюрьме, а за решеткой в зале суда, хорошо выбритый, коротко стриженный, с яркими такими белыми зубами и в тонких очочках. Чечевица спрашивает:

– Знаешь, кто такой?

– Не-а, – отвечаю. – А кто?

– Неважно, – говорит Чечевица и тут же раскалывается: – Знакомый отца. Один раз сюда приходил.

– Дела, – говорю.

И вдруг меня начинает нести.

– Это выходит, – размышляю я вслух, – что они и твоего отца могут загрести? Как сообщника? Тогда понятно, почему он ночевать не приходит.

– Да что тебе может быть понятно! – ни с того ни с сего свирепеет Чечевица. – Никому ничего не понятно, а ему понятно!

Я его ни разу настолько свирепым не видел. Покладистый же ж малый. Я говорю ему нарочно по-доброму, чтоб не думал, что я так уж на стороне закона, а не людей:

– Сообщники – это не всегда плохо. Может быть, наоборот, хорошо. Мы же тоже сообщники, ты, я, Катька и Маня, в войне, например, с Генкой. Не были б сообщники, кто-то мог бы заложить, или еще как-то предать, встать, например, на Генкину сторону. А у нас все крепко. Значит, хорошо.

Это я так длинно рассуждал оттого, что меня развезло. Обычно я думаю и говорю короче.

– Да не в том дело, – устало говорит Чечевица. – Человек страной может управлять, а его в тюрьму засунули.

Я догадался, что он говорит со слов своего отца, и вдруг мне стало дико завидно, что у него есть отец, с которым они обсуждают все эти дела, когда встречаются за завтраком или

за ужином как самые настоящие друзья, а у меня ничего такого нету и быть не может.

Пошла реклама, где красивая телка сначала показывает перхоть у себя в прическе, а после избавляется от нее и встряхивает прической уже без перхоти, и она у нее встает дыбом, а потом волной, а потом рассыпается по плечам, блестя и сияя. А Чечевица внезапно передернулся и говорит:

– Знаешь, кто это? – И, не дожидаясь ответа: – Моя ма-
маня.

У меня глаза на лоб полезли. И лишь в следующий миг дошло, что он все придумал. Одни родные и знакомые у него в телеке. Издевается. Хочет достать – квартирой, родителями, телевизором и прочим. Зачем? Зачем ему это надо – отработывать на мне свои приемчики? Месть за Пушки, где вы меня можете уделать, а здесь я вас? Я мог бы вразумить его в одно касание. Но тогда я бы встал на одну доску с Маней, что глупо, особенно когда я распелся про сообщников, у которых все крепко и хорошо. Значит, некрепко и нехорошо? Мне стало неприятно, и я решил уйти, пусть до этого было приятно. Даже слишком. Случайно взглянул на Чечевицу, а у него лицо, как будто то ли живот заболел, то ли зуб.

– Ты чего? – спрашиваю.

– Ничего, – говорит. – Ничего. – И сам спрашивает: – Ты мне не веришь?

Я честно качаю головой. Не сверху вниз. А из стороны в сторону.

— Зря, — говорит.

Короче, вот что он рассказал. У него была эта мать, которую я видел в телеке, и отец, которого я не видел. Отец — бывший директор пушной фабрики, шубы-шапки, бизнесмен, депутат, то-се. Мать — бывшая манекенщица, то есть на ней, как на манекене, сначала показывали эти шубы-шапки. Жили — не тужили, черную икру хавали ложками, всем семейством отдыхали на Канарах, где это и что, не знаю. В один прекрасный день мать заявляет отцу, что заимела шведа, у которого в России автомобильный бизнес, и у них эта, *лав*. Отец ее чуть не убил. Но не убил. Только лицо слегка попортил, но потом лицо ей восстановили, и она ушла к шведу и сына забрала. И какое-то время они жили хорошо втроем. А дальше начались разборки со шведским бизнесом, шведа сильно напугали, и он драпанул к себе в Швецию, прихватив мамашу с сынком. Родной отец по родному сыну особо не убивался, а по жене убивался и, чтоб забыться, с ушами ушел в эту, как его, общественную деятельность. А Чечевицу в Швеции отправили в школу для иностранцев, где учились англичане-американцы, и с английским у него пошла пруха, а со шведским непруха. Что-то там еще, видать, было, о чем Чечевица не упомянул, а сказал только, что мать, вроде бы потеряв терпение, как я понимаю, отлупила его по мордасам, а швед за него заступился и тоже поднял на нее руку, как отец, и тогда Чечевица заступился за нее, и теперь уже швед его избил. В общем, картина всемирного побоища. Бомжи

лучше ведут себя, чем ихняя элита-бля. А Чечевица взял и ушел из дома. Но полиция его по-быстрому нашла. И он перестал с ними со всеми разговаривать. И тогда швед заявил, что придется его отправить в какое-то там спецзаведение, но мать созвонилась с отцом, и Чечевицу этапировали в Москву. *Этапировали* – это он сказал. По жизни ему купили авиабилет, и отец встречал его на аэродроме.

Походило на сериал. Я по-прежнему не знал, верить или нет, и на всякий случай засмеялся:

– Врешь ты все, Чечевица.

Тогда Чечевица достает с нижней стеклянной полочки журнал и протягивает мне:

– Смотри.

Я смотрю. На обложке фотография: два мужика в костюмах и галстуках. Внизу подпись: депутаты такие-то.

– И что?

– Ничего. Справа мой отец.

Фамилии Чечевицын там не стояло, я посмотрел. Я сказал Чечевице, чтоб не держал меня за лоха. Не зря я кино смотрю и книжки читаю, Ф. Незнанского, например. Могу отличить одно от другого. А Чечевица говорит:

– У него другая фамилия, Чечевицын я по матери.

Я даже расхохотался, как ловко он выкрутился. А он встал и предлагает:

– Пошли в его кабинет.

Я поднялся и двинулся за ним. Кабинет – блеск, весь в

темном дереве, в глубине стол, обтянутый зеленым, на нем куча папок, кружка серебряная с карандашами и ручками и серебряные рамки с фото. В одной рамке Путин, а возле него мужик из журнала. В другой этот же мужик и тетка из рекламы. В третьей Чечевица между ними двумя, не в этом своем возрасте, а примерно в Сонькином. Лицо кукольное, как у матери, а нос с горбатиной, как у отца.

Я заткнулся. Крыть было нечем.

Почему-то внутри у меня заныло. Непонятное. Как будто до этого валило все понятное, а повалило непонятное.

– Чего ты с нами работаешь, если такой успешный? – задал я Чечевице вопрос в лоб.

Чечевица усмехнулся. Я такие усмешки видал у взрослых, у ребят не попадались.

– А скучно, – сказал он. – Жить скучно. – И вдруг спрашивает: – Тебе никогда не хотелось покончить с собой?

Раньше я таких разговоров не слышал, и как их вести, и что отвечать, понятия не имею. Я взял и просто-напросто закашлялся. То есть сделал вид, что закашлялся и не могу прокашляться.

– Стой, воды дам, – сказал Чечевица.

Я замотал головой, потому что я же не по-настоящему кашлял и мог сам остановиться, когда захочу. Тут же и остановился. И сказал:

– Лучше не воды, а вискаря.

Чечевица пошел за бутылкой, а я стал думать, что у Кать-

ки и у Чечевицы, на худой конец, есть красивые фотки, и они могут предъявить их как доказательство, а у нас с Сонькой валяются две плохих любительских материнных карточки, еще две, где они с отцом, и одна отцова большая, и все. Почему я подумал о фотографиях как доказательствах, когда у Катки живая мать, а у Чечевицы и вовсе оба предка живы, а не как у нас, хрен знает. Выходило, что со всеми моими знакомыми живут больше изображения, чем люди из мяса и костей. Хотя Каткина мать – из мяса и костей еще тех. Как она меня за бицепсы трогала – у-у-ух!

Вискарь был доставлен в кабинет.

– Стало быть, твой папашка *вин*, а ты *виновский* сынок, – хохотнул я, чтоб показать: кто сверху, тот оценивает.

– Считай, что так, – согласился Чечевица.

Мы развалились на длинном, во всю стену, кожаном диване, как век тут жили и валялись. Я сначала еще немного беспокоился, что появится Чечевицын отец, и ему вряд ли понравится, что в его покоях разлегся незнакомый парнишка. Но с каждым глотком все больше и больше делалось по барабану, и скоро в глазах поплыло, стало легко и воздушно, и сам я поплыл, как воздушный шарик, оторвавшись от земли и от всего, что на ней торчало, включая нас с Чечевицей, и был такой кайф, что не найдется подходящих слов, чтоб это описать.

Фамилия Чечевицыного отца была, кажется, Амирханов... то ли Абуханов... или Гафуров... что-то в таком ду-

хе... забылось в общем улете.

* * *

В школу на Поварскую я хожу, потому что мне нужно учиться. На Пушки – потому что зарабатывать. Но не из-за одного заработка я хожу туда. Я люблю туда ходить. Мне здорово повезло, что Пушки, а не другой район. Я люблю здесь все. Бульвар с деревьями, как река, берега – металлическая ограда, красивые дома с рекламой, бегучие, блестящие огни на казино со слонами, вот где шикарно, обязательно пойду, как только паспорт получу, несовершеннолетних не пускают, я пытался прошмыгнуть, да здоровенный амбал хватить за микитки и на улицу, а денег к тому время я уж как-нибудь накоплю. Любил балеринку на самом высоком доме направо, если смотреть с Тверской в сторону Красной площади, как она там ножку свою балетную подняла, а сама одна-одинешенька на фоне облаков, но ее почему-то убрали. А больше всего люблю Пушкина, по его имени площадь называется. Мы его проходили, но пока живьем не увидал, то есть как живьем, он чугунный или какой там, а выражения лица и тела такие печальные, что, будь я девчонкой, обязательно заплакал бы, на него глядя. И что ему так печально стоять здесь? Или быть там, где был, пока был живой? Короче, до тех пор пока не увидал, мне было до фонаря. А теперь я смотрю иногда в его чуть наклоненное ко мне с его вер-

хотуры лицо, и всякий раз хочется поговорить с ним, спросить чего-нибудь или сказать. Но он каменный или чугунный, а разве с камнем или чугуном разговаривают? Тут есть какая-то загадка, и чем больше я о ней думаю, тем больше понимаю, что придумать хоть какую отгадку у меня не получится, и от этого мне почти так же печально, как ему.

На Пушкике меня и нашли с проломанным черепом. Не в том месте, где мы бизнесом занимаемся, а подальше, поближе к другому тоже Пушкину, но такому мелкому, где он танцует с мелкой женой под большим медным тазом, то есть куполом, каким накрыт, и за этого мелкого Пушкина мне всегда обидно.

Я мало что помнил. Про где случилось в больнице рассказали. Сказали, повезло, что выкрутился. А я и не выкручивался. Само собой вышло. Топал домой, не в тот вечер, а в другой, с выручкой от бизнеса. Все. Очнулся: больничная койка, башка перевязанная и без выручки. Медицинские работнички сделали большие глаза, мол, в карманах пусто было. Ну, я на них и подумал. Уж после сообразил, что если не грабить, то и башку незачем проламывать.

Ничего себе дела закрутились. Сперва Сонька в больницу попала. Следом я. Как начало цеплять, так и цепляет. Что дальше, интересно, будет. Сонька в 61-й лежала, у метро «Спортивная», а меня в 19-ю привезли, рядом с домом. Соньку я уже забрал к тому времени. А на соседней койке старичок. Скособоченный и сам себе все докладывает, что

собирается сделать: киселю попить, пописать пойти, невестке сходить позвонить. Насчет позвонить я уловил и попросил наш номер заодно набрать, Соньке про меня сказать. Старичок велел себе пижаму поправить, сикось-накось подтянул, кивнул и поплюхал. Возвращается, никого, говорит, нету. Как нету, вечер, куда ж она делась. Не звонил, что ли. Еще раз прошу сходить, все равно ему время как проводить. Он опять про штаны себе сказал, чего-то криво там пошебуршил и направился. Опять говорит, никто не отвечает. Я решил выбираться отсюда, сам домой слинять посмотреть. И вдруг старичок этот изможденный ка-ак рывкнет басом: смирно, лежать, доложу врачу, железами к кровати прикуют. Я ж не знаю, делают так в больницах или он пугает, за свои тринадцать с половиной я ни разу не лежал. Не то что я испугался, а неприятно стало, что мной командуют, как в тюрьме или в армии. Терпеть не могу, когда командуют. Хорошо, другой сосед, безносый, то есть в перевязке, а под ней плоско, объяснил: не бери в голову, он у нас из ума выживший, медицинский факт. И карточку протянул: бери, иди звони, там у лифтов автомат, спросишь. Я поплелся к лифтам, немного поводило, но ничего, набрал свой номер, а там молчок. Набрал тетя Тому, и только але успел сказать, как она в трубку закричала:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.